

ЧЁТКИ

I

Я всегда предпочитал прямые и ломаные линии городских улиц извиву и кружениям полевого просёлка. Даже пригородное подобие природы, с вялыми пыльными травами у обочин шоссе, с тонкоствольными чахлыми рощицами в дюжину берёзок, с лесом, где деревья вперемежку с пнями, а на лопастях папоротника налипь рваной бумаги, -- пугает меня. Природа огромна, я -- мал: ей со мною неинтересно. Мне с нею -- тоже. В городе, среди придуманных нами площадей, кирпичных вертикалей, чугунных и каменных оград, -- я, придумыватель мыслей и книг, кажусь себе как-то значительнее и нужнее, а здесь, в поле, подставленном под небо, я, тщетно пытающийся исшагать простор, затерянный и крохотный, кажусь себе осмеянным и обиженным. На природу с квадрата холста, из тисков рамы, с подклеенным снизу номерком, я ещё, скрепя сердце, согласен: тут я смотрю её. А там, в поле, небом прикрытом, она смотрит меня, вернее сквозь меня, в какие-то свои вечные дали, мне, тленному, с жизнью длиною в миг, чужие и невнятные.

И в тот день (было прозрачное сентябрьское предвечерне) я вышел за шлагбаум не так, не просто, не прогулки ради, а за делом: мне нужно было одолжить у небополя на час-два чувство малости и затерянности. Одно место во второй главе моей работы, требующее именно этой эмоции, никак не давалось среди стен. Делать было нечего.

Я прошёл уже около версты от заставы. Глаз, привыкший кружить путаницами улиц и стен, ёрзать среди пестрот, втянувшийся в дробность и разорванность городского восприятия, тщетно искал деталей и мельков: зелень -- синь, небо -- земля -- и всё. Поэтому понятна радость глаза, когда удалось-таки ему, обожевав горизонт, сыскать в просторах поля -- мелочь: человека. Человек возник как-то сразу и неожиданно близко: он стоял в мятой траве, у края дороги, сосредоточенно шаря палкой по земле. Палка терпеливо перебирала и пригинала к земле травинку за травинкой. Человек (он был очень стар), наклонив и без того сутулую спину к земле, очевидно, искал что-то, оброненное в травы: свисшие с его носа очки недовольно круглились.

Поравнявшись со стариком, я коснулся шляпы.

-- Не помочь ли вам?

Старик не отвечал и ещё ниже пригнулся к травам, -- и вдруг круглые стёкла очков, мелькнув чёрной оправой, прыгнули в траву. Старик растерянно ловил воздух руками, с таким видом, как если б вместе со стеклами уронил в траву и глаза. Быстро нагнувшись, я поднял за тонкий стальной заушник очки:

-- Вот видите, не надо брезгать помощью. Скажите, что вы потеряли?

Старик долго протирал пыльные стекла:

-- Тут... в траве -- la*.

-- Что?

-- Ну да, я уронил -- ля-диез: с первой приписной линейки.

И он опять принялся шарить в траве. Изумлённый, следя за движениями палки, я заметил: в зелёной путанице травинок что-то вдруг сверкнуло пучком стеклистых искр: протянув руку к искрам, я держал легко мною выпутанный из трав, крохотный гранёный пузырёк: на прозрачной грани -- бумажный билетик; на билетике пометка -- "la*^3", из третьей октавы. Срок заклада -- 1 авг.** г." -- и ещё что-то -- но я не успел дочитать: костлявые пальцы жадно потянулись к находке, стёкла очков к стеклу сосуда:

-- Ну да, она. Конечно. Благодарю вас.

На костистом плече старика висела серая дорожная сума: приоткрыв её, он бросил внутрь сумы пузырёк и, медленно ступая, продолжал свой путь. Я шёл рядом, не отставая. Мимо, по колеям, растревожив пыль, прокатила телега.

-- Мне всё-таки хотелось бы знать, почему вы говорили о каком-то ля-диез. Ведь в траве был просто пузырёк: пустой пузырёк.

Старик, не отвечая, сунул руку в суму, и в пальцах его опять просверкал гранёный сосудец: придерживая его левой рукой за донце, правой он осторожно повернул притёртую пробочку и, чуть улыбаясь, поднёс его к моему уху: грустная серебристо-звнящая нота высокого юного женского голоса прозвучала из-за стеклянной грани: пленённая, будто вырванная из чьего-то голоса нота -- длилась и длилась -- исходя в тоске по разлученному с ней голосу и бессильно стучась серебром дрожи в стенки стеклянной тюрьмы.

В вибрации пленённого звука было что-то странно знакомое: вдруг